

Б. Н. ПОЛЕВОЙ
(1908 – 1981)



ИЗ «ПОВЕСТИ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Часть первая

14

Свалившись после неудачной попытки встать, Алексей на мгновение потерял сознание, но то же ощущение близкой опасности привело его в себя. Несомненно, в сосняке скрывались люди, они наблюдали за ним и о чем-то перешептывались.

Он приподнялся на руках, поднял со снега пистолет и, незаметно держа его у земли, стал наблюдать. Опасность вернула его из полузыбкого состояния. Сознание работало четко. Кто они были? Может быть, лесорубы, которых немцы гоняют сюда на заготовку дров? Может, русские, такие же, как и он, окруженцы, пробирающиеся из немецких тылов через линию фронта к своим? Или кто-нибудь из местных крестьян? Ведь слышал же он, как кто-то отчетливо вскрикнул: «Человек?»

Пистолет дрожал в его руке, одеревеневшей от ползанья. Но Алексей приготовился бороться и хорошо израсходовать оставшиеся три патрона...

В это время из кустов раздался взволнованный детский голос:

– Эй, ты кто? Дойч? Ферштеешь?

Эти странные слова насторожили Алексея, но кричал, несомненно, русский, и, несомненно, ребенок.

– Ты что тут делаешь? – спросил другой детский голос.

– А вы кто? – ответил Алексей и смолк, пораженный тем, как немощен и тих был его голос.

За кустами его вопрос произвел переполох. Там долго шептались, жестикулируя так, что метались веточки сосняка.

– Ты нам шарики не крути, не обманешь! Я немца за пять верст по духу узнаю. Ты есть дойч?

– А вы кто?

– А тебе почто знать? Не ферштею...

– Я русский.

– Врешь... Лопни глаза, врешь: фриц!

– Я русский, русский, я летчик, меня немцы сбили.

Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами – свои, русские, советские. Они не верят ему, – что ж, война учит осторожности. Впервые за весь свой путь он почувствовал, что совершенно ослаб, что не может уже больше шевелить ни ногой, ни рукой, ни двигаться, ни защищаться. Слезы текли по черным впадинам его щек.

– Гляди, плачет! – раздалось за кустами. – Эй, ты, чего плачешь?

– Да русский, русский я, свой, летчик...

– А с какого аэродрома?

– Да вы-то кто?

– А тебе что? Ты отвечай!

– С Мончаловского... Помогите же мне, выходите! Какого черта...

В кустах зашептались оживленнее. Теперь Алексей отчетливо слышал фразы:

– Ишь говорит – с Мончаловского... Может, верно... И плачет... Эй ты, летчик, брось наган-то! – крикнули ему. – Брось, говорю, а то не выйдем, убежим!

Алексей откинул в сторону пистолет. Кусты раздвинулись, и два мальчугана, настороженные, как любопытные синички, готовые каждую минуту сорваться и дать стрекача, осторожно, держась за руки, стали подходить к нему, причем старший, худенький, голубоглазый, с русыми пеньковыми волосами, держал в руке наготове топор, решив, должно быть, применить его при случае. За ним, прячась за его спину и выглядывая из-за нее полными неукротимого любопытства глазами, шел меньший, рыженький, с пятнистым от веснушек лицом, шел и шептал:

– Плачет. И верно, плачет. А тощей-то, тощей-то!

Старший, подойдя к Алексею, все еще держа наготове топор, огромным отцовским валенком отбросил подальше лежащий на снегу пистолет.

– Говоришь, летчик? А документ есть? Покажь.

– Кто тут? Наши? Немцы? – шепотом, невольно улыбаясь, спросил Алексей.

– А я знаю? Мне не докладают. Лес тут, – дипломатично ответил старший.

Пришлось лезть в гимнастерку за удостоверением. Красная командирская книжка со звездой произвела на ребят волшебное впечатление. Точно детство, утерянное в дни оккупации, вернулось к ним разом оттого, что перед ними оказался свой, родной, Красной Армии летчик.

– Свои, свои, третий день свои!

– Дяденька, ты почему такой тощей-то?

– ...Их тут наши так тряхнули, так чесанули, так бабахнули! Бой тут был, страсть! Набито их ужась, ну ужась сколько!

– А удирали кто на чем... Один привязал к оглоблям корыто и в корыте едет. А то двое раненых идут, за лошадиный хвост держатся, а третий на лошади верхом, как фон-барон... Где же тебя, дяденька, сбили?

Пострекотав, ребята начали действовать. До жилья было от вырубки, по их словам, километров пять. Алексей, совсем ослабевший, не мог даже повернуться, чтобы удобнее лечь на спину. Санки, с которыми ребята пришли за ветлами на «немецкую вырубку», были слишком малы, да и не под силу было мальчикам тащить без дороги, по снежной целине, человека. Старший, которого звали Серенькой, приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ, а сам остался возле Алексея караулить его, как он пояснил, от немцев, втайне же не доверяя ему и думая: «А ляд его знает, фриц хитер – и помирающим прикинется, и документик достанет...» А впрочем, понемногу опасения эти рассеялись, мальчуган разболтался.

Алексей дремал с полузакрытыми глазами на мягкой, пушистой хвое. Он слушал и не слушал его рассказ. Сквозь спокойную дрему, сразу вдруг сковавшую его тело, долетали до сознания только отдельные несвязные слова. Не вникая в их смысл, Алексей сквозь сон наслаждался звуками родной речи. Только потом узнал он историю злоключений жителей деревеньки Плавни.

Немцы пришли в эти лесные и озерные края еще в октябре, когда желтый лист пламенел на березах, а осины точно охвачены были тревожным красным огнем. Боев в районе Плавней не произошло. Километрах в тридцати западнее, уничтожив красноармейскую часть, которая полегла на укреплениях наспех построенной оборонительной линии, немецкие колонны, возглавляемые мощным танковым

авангардом, миновали Плавни, спрятанные в стороне от дорог, у лесного озера, и прокатились на восток. Они стремились к большому железнодорожному узлу Бологое, чтобы, захватив его, разъединить Западный и Северо-Западный фронты. Здесь, на далеких подступах к этому городу, все летние месяцы и всю осень жители Калининской области – горожане, крестьяне, женщины, старики и подростки, люди всех возрастов и всех профессий, – день и ночь, в дождь и в зной, страдая от комаров, от болотной сырости, от дурной воды, копали и строили оборонительные рубежи. Укрепления протянулись с юга на север на сотни километров через леса, болота, по берегам озер, речушек и ручьев.

Немало горя хватили строители, но труды их не пропали даром. Немцы с ходу прорвали несколько оборонительных поясов, но на одном из последних рубежей их задержали. Бои стали позиционными. К городу Бологое немцам прорваться так и не удалось, они вынуждены были перенести центр удара южнее, а тут перешли к обороне.

Крестьяне из деревни Плавни, подкреплявшие обычно скучный урожай своих супесчаных полей удачным рыбачеством в лесных озерах, совсем уже было обрадовались, что война миновала их. Переименовали, как этого требовали немцы, председателя колхоза в старосту и продолжали жить по-прежнему артелью, надеясь, что не вечно же оккупантам топтать советскую землю и что им, плавнинским, и в их глухи, может, и удастся пересидеть напасть. Но вслед за немцами в мундирах цвета болотной ряски приехали на машинах немцы в черном, с черепом и костями на пилотках. Жителям Плавней было предписано выставить через двадцать четыре часа пятнадцать добровольцев, желающих ехать на постоянные работы в Германию. В противном случае деревне сулили большие беды. Добровольцам явиться к крайней избе, где помещались артельный рыбный склад и правление, иметь с собой смену белья, ложку, вилку, нож и продуктов на десять дней. К положенному сроку никто не пришел. Впрочем, немцы в черном, уже, должно быть, наученные опытом, не очень на это и надеялись. Они схватили и расстреляли для острастки перед зданием правления председателя колхоза, то бишь старосту, пожилую воспитательницу из детского сада Веронику Григорьевну, двух колхозных бригадиров да человек десять крестьян, подвернувшихся им под руку. Тела не велели хоронить и заявили, что так будет со всей деревней, если через сутки добровольцы не явятся на место, названное в приказе.

Добровольцы опять не явились. А утром, когда немцы из зондеркоманды СС пошли по деревне, все избы оказались пустыми. В них не было ни души – ни старых, ни малых. Ночью, бросив свои дома, землю, все свое годами нажитое добро, почти всю скотину, люди под покровом густых в этих краяхочных туманов бесследно исчезли. Деревня вся как есть, до последнего человека, снялась и ушла в лесную глушь – за восемнадцать верст, на старую вырубку. Накопав землянок, мужчины ушли партизанить, а бабы с ребятишками остались бедовать в лесу до весны. Мятежную деревню зондеркоманда сожгла дотла, как и большинство деревень и сел в этом районе, названном немцами мертвой зоной.

– ...Батя у меня председателем колхоза был, старостой они его называли, – рассказывал Серенька, и слова его долетали до сознания Алексея точно из-за стены, – так они его убили и братеньку старшего убили, инвалид он был, без руки, руку ему на гумне отрезало. Шестнадцать человек... Я сам видел, нас всех согнали смотреть. Батя все кричал, все матерился... «Пропишут вам за нас, сукины сыны! – кричал. – Кровавой слезой, – кричал, – за нас заплачете!..»

Странное ощущение испытал летчик, слушая маленького белокурого мужичка с большими грустными, усталыми глазами. Он точно плавал в вязком тумане. Необоримая усталость крепко опутывала все его измотанное нечеловеческим напряжением тело. Он не мог шевельнуть даже пальцем и просто не представлял себе, как это он всего часа два тому назад еще передвигался.

– Так в лесу и живете? – еле слышно спросил мальчика Алексей, с трудом

освобождаясь от пут дремы.

— А как же, так и живем. Тroe нас теперь: мы с Федькой да матка. Сестренка была Нюшка — зимой померла, опухла и померла, и еще маленький помер, так что, выходит, нас трое... А что: немцы не воротятся, а? Дедя наш, маткин, значит, отец, он у нас сейчас за председателя, говорит, не воротятся, мертвого, говорит, с погоста не таскают. А матка все боится, все бежать хочет: а ну, говорит, опять вернутся... А вон и дедя с Федькой, глянь!

На опушке леса стоял рыженький Федька и показывал на Алексея пальцем высокому сутулому старику в рваном, из крашенной луком домотканины армяке, подвязанном веревкой, и в высоковерхой офицерской немецкой фуражке.

Старик, дедя Михайла, как называли его ребятишки, был высок, сутул, худ. У него было доброе лицо Николы-угодника немудреного сельского письма, с чистыми светлыми, детскими глазами и мягкой негустой бородкой, струистой и совершенно серебряной. Закутывая Алексея в старую баранью шубу, всю состоявшую из пестрых заплаток, без труда поднимая и перевертывая его легкое тело, он все приговаривал с наивным удивлением:

— Ах ты, грех-то какой, вовсе истощился человек! До чего дошел... Ах ты, боже ты мой, ну сущий шкилет! И что только война с людьми делает. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Осторожно, как, новорожденного ребенка, опустил он Алексея на салазки, прикрутил к ним веревочной вожжой, подумал, стащил с себя армяк, свернул и подмостили ему под голову. Потом вышел вперед, впрягся в маленький хомут, сделанный из мешковины, дал по веревке мальцам, сказал: «Ну, с богом!» — и втроем они потянули салазки по талому снегу, который цеплялся за полозья, скрипел, как картофельная мука, и оседал под ногами.

15

Следующие два-три дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности.

Беглая деревня жила в вековом бору. Землянки, одетые еще снегом, прикрытые сверху хвойей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сырьо, дым льнул ко мху, цеплялся за деревья, и Алексею показалось, что местность эта объята затухающим лесным пожаром.

Все население — преимущественно бабы и дети да несколько старииков, — узнав, что Михайла везет из лесу неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки, похожего на «сущий шкилет», высыпало навстречу. Когда «тройка» с салазками замелькала меж древесных стволов, бабы обступили ее и, отгоняя шлепками и подзатыльниками сновавших под ногами ребятишек, так стеной и пошли, окружив сани, охая, причитая и плача. Все они были оборваны и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по-черному, не сходила с их лиц. Только по сверканью глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки.

— Бабы, бабы, ах, бабы! Ну что собрались, ну что? Театра это вам? Спектакля? — серчал Михайла, сноровисто нажимая на свой хомутик. — Да не снуйте вы под ногами, бога ради, овцы, прости господи, полоумные!

А из толпы до Алексея доносились:

— Ой, какой! Верно, шкилет! Не шевелится, жив ли?

— Без памяти он... Чего же это с ним? Ой, бабоньки, уж тощ, уж тощ!

Потом волна удивления схлынула. Неизвестная, но, очевидно, страшная судьба

этого летчика поразила баб, и, пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затялся спор: у кого жить Алексею?

— У меня землянка суха. Песок-песочек и воздух вольный... Печура у меня, — доказывала маленькая круглоголовая женщина с бойко сверкающими, как у молодого негра, белками глаз.

— «Печура»! А живет-то вас сколько? От одного духа преставиешься!.. Михайла, давай ко мне, у меня три сына в красноармейцах и мучки малость осталось, я ему лепешки печь стану!

— Нет, нет, ко мне, у меня просторно, вдвоем живем, места хватит; лепешки тащи к нам: все равно ведь ему, где есть. Уж мы с Ксюхой его обходим, у меня лещ мороженый есть и грибков белых нитка... Ушицу ему, суп с грибами.

— Где ж ему ушицу, он одной ногой в гробу!.. Ко мне его, дядя Миша, у нас корова, молочко!

Но Михайла подтащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни.

...Алексей помнит: лежит он в маленькой темной земляной норе; слегка чадя, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете ее видны с нар стол, сколоченный из ящика от немецких мин и утвержденный на вкопанном в землю столбе, и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, по-старушечки одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу, — младшая сноха деда Михайлы Варвара, и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями.

Алексей лежит на полосатом тюфяке, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилем. И хотя все тело ноет, как побитое камнями, а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что никто тебя не тронет, что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься.

Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелется сизыми живыми, переливающимися слоями, и кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол, и серебряная голова деда Михайлы, всегда чем-то занятого, что-то мастерящего, и тонкая фигура Вари — все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерюжкой с черным немецким орлом. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно, вздыхает и говорит Варваре:

— Манка это... С мирного времени для Костюньки берегли. Не надо ему теперь ничего, Костюньке-то. Возьмите, кашки вот постояльцу своему сварите. Она для ребятишек, кашка-то, ему как раз.

Повернувшись, она тихо уходит, овеяя всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то — лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый теплый хлебный парок.

Приходят Серенька с Федькой. С крестьянской степенностью Серенька снимает в дверях с головы пилотку, говорит: «Здравствуйте вам», — кладет на стол два кусочка пиленного сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей.

— Мамка прислала. Он полезный, сахар-то, ешьте, — говорит он и деловито обращается к деду: — Опять на пепелище ходили. Чугунок откопали. Два заступа не сильно обгорелые, топор без топорища. Принесли, сгодится.

А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает слону.

Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников.

— Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет! А? Слыши, Алекса, говорю — русской бабе, слышь, цены нет. Ее стоит за сердце тронуть, она последнее отдаст, головушку положит, баба-то наша. А? Не так? — приговаривал дед Михайла, принимая все эти дары для Алексея и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работенку: за починку сбруи, пошивку хомутов или подшивку протопавшихся валенок. — И в работе, брат Алекса, она, эта самая баба, нам не сдает, а то и тю-тю! — гляди, обставит мужика-то на работе! Только язык этот бабий, ох, язык! Заморочили мне, Алекса, эти самые чертовы бабы голову, ну просто навовсе заморочили. Как Анисья-то моя померла, я, грешный человек, и подумал: «Слава те господи, поживу в тишине-покое!» Вот меня бог и наказал. Мужики-то наши, когд остались в армию непозабратья, все при немцах в партизаны подались, и остался я за великие свои грехи бабым командиром, как козел в овечьем стаде... Ох-хо-хо!

Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей Плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды — всего, что нажито было трудом поколений; жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мерли, — но колхоз, который передовикам в тридцатом году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности взамен убитого зятя взял на себя дед Михайла. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне.

Страдающие от голода крестьянки снесли и ссыпали в общую землянку до последнего зернышка все, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведенных от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелища и в углах пожарища выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабы бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня.

Хоть дед Михайла и ворчал на «своих баб» и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь мало понятных Алексею хозяйственных дел, хотя и орал иной раз на них выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить и, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя, не раз принимался до небес превозносить «женское отродье»:

— Ведь ты смотри, Алекса, друг ты мой любезный, что получилось. Баба — она от веку веков за кусок обеими руками держится. А? Не так? А почему? Скупа? Нет, потому что ей дорог кусок-то, детей-то ведь она кормит, семью-то, что там ни говори, она, баба, ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сам видишь, как: крохи считаем. Ага, голод! А тут, значит, было это в январе, нагрянули к нам партизаны, и не наши деревенские, нет — наши-то где-то, слыши, под Оленином воюют, — а чужие, с чугунки какие-то. Ладно. Нагрянули. «С голоду помираем». И что же думаешь, на следующий день бабешки им полные сумки напихали. А у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются. А? Не так?.. То-то вот и оно! Кабы я был какой командир, я бы, как немцев мы прогоним, собрал бы лучшие свои войска и вывел бы наперед бабу и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь ей отдавать, бабе-то!..

Алексей сладко дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки и показать их ему, да руки не поднимались, так был слаб. Но когда дед Михайла принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через

сукно гимнастерки.

Тут же, у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловкая и молчаливая, трудилась по вечерам сноха деда Михайлы.

Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда, но потом разглядел, что ей не больше двадцати — двадцати двух лет, что она легкая, стройная, миловидная и что, глядя на Алексея как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина гасла и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлом на старом пепелище и принесенный сюда в рукавице «для жилого духу» вместе с обгорелой посудой, казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив зубами подушку.

16

На третий день гостеванья Алексея у деда Михайлы старик утром решительно сказал ему:

— Обовшивел ты, Алеха, — беда: что жук навозный. А чесаться-то тебе трудно. Вот что: баньку я тебе сооружу. Что?.. Баньку. Помою тебя, косточки лопарю. Оно, с трудов-то твоих, больно хорошо, банька-то. Что? Не так?

И он принялся сооружать баню. Очаг в углу натопил так, что стали с шумом лопаться камни. Где-то на улице тоже горел костер, и на нем, как сказали Алексею, калился большой валун. Варя наносила воды в старую кадку. На полу постлали золотой соломы. Потом дед Михайла разделся по пояс, остался в одних подштанниках, быстро развел в деревянной бадье щелок, надрал из рогожки пахнущего летом мочала. Когда же в землянке стало так жарко, что с потолка начали падать тяжелые холодные капли, старик выскочил на улицу, на железном листе притащил оттуда красный от жара валун и опустил его в кадку. Целая туча пара шибанула к потолку, расползлась по нему, переходя в белые курчавые клубы. Ничего не стало видно, и Алексей почувствовал, что его раздевают ловкие стариковы руки.

<...>

Сквозь шевелящуюся пелену пара впервые после катастрофы увидел он свое тело. На золотой яровой соломе лежал обтянутый смуглой кожей человеческий костяк с резко выдавшимися шарами коленных чашечек, с круглым и острым тазом, с совершенно провалившимся животом, резкими полукружьями ребер.

Старик возился у шайки со щелоком. Когда же он, обмакнув мочалку в серую маслянистую жидкость, занес ее над Алексеем и разглядел его тело в жарком тумане, рука с мочалкой застыла в воздухе.

— Ах ты, беда!.. Сурьезное твое дело, брат Алеха! А? Сурьезное, говорю. От немцев-то ты, брат, значит, уполз, а от нее, косой...

Он ловко и бережно, точно маленького, мыл Алексея щелоком, перевертывал, обдавал горячей водой, снова тер и тер с таким азартом, что руки его, скользившие по бугоркам костей, скоро заскрипели.

Варя молча помогала ему.

Но зря накричал на нее старик. Не смотрела она на это страшное, костлявое тело, бессильно свешивавшееся с ее рук. Она старалась смотреть мимо, а когда взглядела на него, невольно замечал сквозь туман пару ногу или руку Алексея, в нем загорались искры ужаса. Ей начинало казаться, что это не неизвестный ей, невесть как попавший в их семью летчик, а ее Миша, что не этого неожиданного гостя, а ее мужа, с которым прожила она всего-навсего одну весну, могучего парня с крупными и яркими веснушками на светлом безбровом лице, с огромными, сильными руками, довели немцы до такого состояния и что это его, Мишино, бессильное, порой кажущееся мертвым тело держат теперь ее руки. И ей становилось страшно, у нее начинала

кружиться голова, и, только кусая губы, удерживала она себя от обморока...

...А потом Алексей лежал на полосатом тощем тюфяке в длинной, вкривь и вкось заштопанной, но чистой и мягкой рубахе деда Михайлы, с ощущением свежести и бодрости во всем теле. После баньки, когда пар вытянуло из землянки через волоковое оконце, проделанное в потолке над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымком чаем. Он пил его с крошками тех самых двух кусочков сахара, которые принесли ему ребятишки и которые Варя мелко-мелко накрошила для него на беленькую берестичку. Потом он заснул – в первый раз крепко, без снов.

Разбудил его громкий разговор. В землянке было почти темно, лучина еле тлела. В этом дымном мраке дребезжал резкий тенорок деда Михайлы:

– Бабий ум, где у тебя соображение? Человек одиннадцать ден во рту просянного зернышка не держал, а ты вкрутую... Да эти самые крутые яйца – ему смерть!.. – Вдруг голос деда стал просительным: – Ему бы не яиц сейчас, ему бы сейчас, знаешь что, Василиса, ему бы сейчас куриного супчику похлебать! О! Вот ему что надо. Это бы его сейчас к жизни подбодрило. Вот Партизаночку бы твою, а?..

Но старушечий голос, резкий и неприятный, с испугом перебил:

– Не дам! Не дам и не дам, и не проси, черт ты старый! Ишь! И говорить об этом не смей. Чтобы я Партизаночку мою... Супчику похлебать... Супчику! Вон и так эва сколько натащили всего, чисто на свадьбу! Придумал тоже!

– Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова! – задребезжал тенорок старика. – У самой двое на фронте, и такие у тебя бестолковые понятия! Человек, можно сказать, за нас вовсе покалечился, кровь пролил...

– Не надо мне его крови. За меня мои проливаю. И не проси, сказано – не дам, и не дам!

Темный старушечий силуэт скользнул к выходу, и в распахнувшуюся дверь ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал, ослепленный. Старик кинулся к нему:

– Ай ты не спал, Алеха? А? Ай слышал разговор? Слышал? Только ты ее, Алеха, не суди; не суди, друг, слова-то ее. Слова – они что шелуха, а ядрышко в ней хорошее. Думаешь, курицы она для тебя пожалела? И-и, нет, Алеша! Всю семью ихнюю – а семья была большущая, душ десять, – немец перевел. Полковником у нее старший-то. Вот дознались, что полковникова семья, всех их, кроме Василисы, в одночасье в ров. И хозяйство все порушили. И-их, большая это беда – в ее-то годы без роду-племени остаться! От хозяйства от всего оказалась у нее одна курица, значит. Хитрая курица, Алеша! Еще в первую неделю немцы всех курей-уток переловили, потому для немца птица – первое лакомство. Все – «курка, матка, курка!». Ну, а эта спаслась. Ну просто артист, а не курица! Бывало, немец – во двор, а она – на чердак и сидит там, будто ее и нет. А свой войдет – ничего, гуляет. Шут ее знает, как она узнавала. И осталась она одна, курица эта, на всю нашу деревню, и вот за хитрость за ее вот эту самую Партизанкой мы ее и окрестили.

Мересьев дремал с открытыми глазами. Так привык он в лесу. Деда Михайлу молчание его, должно быть, беспокоило. Посуевавшись по землянке, что-то поделав у стола, он опять вернулся к этой теме:

– Не суди, Алеха, бабу-то! Ты, друг любезный, в то вникни: была она как старая береза в большом лесу, на нее ниоткель не дуло, а теперь торчит, как трухлявый пень на вырубке, и одна ей утеша – эта самая курица. Чего молчишь-то, ай заснул?.. Ну, спи себе, спи.

Алексей спал и не спал. Он лежал под полуушубком, дышавшим на него кислым запахом хлеба, запахом старого крестьянского жилья, слушал успокаивающее пиликанье сверчка, и не хотелось ему шевелить хотя бы пальцами. Было похоже, что тело его лишено костей, набито теплой ватой, в которой толчками пульсирует кровь. Разбитые, распухшие ноги горели, их ломило изнутри какой-то тягостной болью, но не

было сил ни повернуться, ни пошевелиться.

В этой полудреме Алексей воспринимал жизнь землянки клочками, точно это была не настоящая жизнь, а на экране мелькали перед ним одна за другой несвязные, необыкновенные картины.

Была весна. Беглая деревня переживала самые трудные дни. Доедали последние харчишки из тех, что успели в свое время позарывать и попрятать и что тайком по ночам выкапывали из ям на пепелищах и носили в лес. Оттаивала земля. Наспех нарытые норы «плакали» и оплывали. Мужики, партизанившие западнее деревни, в Оленинских лесах, и раньше нет-нет хоть поодиночке, хоть по ночам наведывавшиеся в подземную деревенку, оказались теперь отрезанными линией фронта. От них не было ни слуху ни духу. Новая тягота легла на и без того измученные бабы плечи. А тут весна, тает снег, и надо думать о посеве, об огородах.

Бабы бродили озабоченные, злые. В землянке деда Михайлы то и дело вспыхивали между ними шумные споры с взаимными попреками, с перечислением всех старых и новых, настоящих и выдуманных обид. Гомон порой стоял в ней страшный, но стоило хитроумному деду подкинуть в эту гомонящую кашу злых бабых голосов какую-нибудь хозяйственную мыслишку – о том, не пора ли, дескать, послать ходоков на пепелище глянуть: может, уже отошла земля, или не подходящ ли ветерок, чтобы проветрить семена, проклекшие от душной земляночной сырости, – как сразу же гасли эти споры.

Раз дед вернулся днем и довольный и озабоченный. Он принес зеленую травинку и, бережно положив ее на заскорузлую ладонь, показал Алексею:

– Видал? С поля я. Отходит земля-то, а озимь, слава тебе господи, ничего, обозначилась. Снега обильные. Смотрел я. Если с яровыми не вывезем, озимь и то кусок даст. Пойду бабам гукну, пусть порадуются, бедолаги!

Точно стая галок весной, зашумели, закричали у землянки бабы, в которых зеленая травинка, принесенная с поля, разбудила новую надежду. А вечером дед Михайла потирал руки.

– Ить, и ничего решили министры-то мои долговолосые. А, Алеха? Одна бригада, значит, на коровах пашет, это где ложок в низинке, где пахота тяжелая. Да много ли напашешь: всего шесть коровенок от стада-то нашего осталось! Второй бригаде поле, что повыше, посуще, – это лопатой да мотыгой. И ништо – огороды-то ведь копаем, выходит. Ну, а третья – на взгорье, там песочек, под картофель, значит, земельку готовим; этим вовсе легко: там ребятишек с лопатами копать заставим и ки бабы слабые – тех. А там, глядишь, и помошь нам будет от правительства, значит. Ну, а не будет, опять невелика беда. Уж мы и сами как-нибудь, уж мы земельку непокрытой не оставим. Спасибо, немца отсюда шугнули, а теперь жисть пойдет. У нас народ жилист, любую тяготу вытянет.

Дед долго не мог уснуть, ворочался на соломе, кряхтел, чесался, стонал: «О господи, боже ты мой!» – несколько раз сползл с нар, подходил к ведру с водой, гремел ковшом, и слышно было, как он громко, точно запаленный конь, пьет крупными, жадными глотками. Наконец он не выдержал, засветил от кресала лучину, потрогал Алексея, лежавшего с открытыми глазами в тяжелом полу забытьи:

– Спишь, Алеха? А я вот все думаю. А? Все вот думаю, знаешь. Есть у нас в деревне на старом месте дубок на площади, да... Его лет тридцать назад, как раз в николаевскую войну, молнией полоснуло – и вершина напрочь. Да, а он крепкий, дубок-то, корень у него могучий, соку много. Вверх ему ходу не стало, дал вбок росток, и сейчас, гляди, какая опять шапка кудрява... Так вот и Плавни наши... Только бы солнышко нам светило, да земелька рожала, да родная наша власть у нас, а мы, брат Алеха, лет за пяток отойдем, отстроимся! Живучие. Ох-хо-хо, будь здоров! Да еще – чтоб война бы поскорей кончилась! Разбить бы их, да и за дело всем, значит, миром! А, как думаешь?

В эту ночь Алексею стало плохо.

Дедова баня встряхнула его организм, вывела его из состояния медленного, оцепенелого угасания. Сразу ощущил он с небывалой еще силой и истощение, и нечеловеческую усталость, и боль в ногах. Находясь в бредовой полудреме, он метался на тюфяке, стонал, скрежетал зубами, кого-то звал, с кем-то ругался, чего-то требовал.

Варвара всю ночь просидела возле него, подобрав ноги, уткнув подбородок в колени и тоскливо глядя большими круглыми грустными глазами. Она клала ему то на голову, то на грудь тряпку, смоченную холодной водой, поправляла на нем полушибок, который он то и дело сбрасывал, и думала о своем далеком муже, неведомо где носимом военными ветрами.

Чуть свет поднялся стариик. Посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенки большие самодельные калоши из автомобильных камер, лычком крепко перепоясал армяк, взял можжевеловую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах.

Он ушел, не сказав Алексею ни слова.

17

Мересьев лежал в таком состоянии, что даже и не заметил исчезновения хозяина. Весь следующий день пробыл он в забытии и очнулся только на третий, когда солнце уже стояло высоко и от волокового оконца в потолке через всю землянку, до самых ног Алексея, не рассеивая мрака, а, наоборот, сгущая его, тянулся светлый и плотный столб солнечных лучей, пронизавший сизый, слоистый дым очага.

Землянка была пуста. Сверху сквозь дверь доносился тихий, хрипловатый голос Вари. Занятая, должно быть, каким-то делом, она пела старую, очень распространенную в этих лесных краях песню. Это была песня об одинокой печальной рябине, мечтающей о том, как бы ей перебраться к дубу, тоже одиноко стоящему где-то поодаль от нее.

Алексею не раз и раньше доводилось слышать эту песню. Ее пели девчата, веселыми табунами приходившие из окраинных селений ровнять и расчищать аэродром. Ему нравился медленный, печальный мотив. Но раньше он как-то не вдумывался в слова песни, и в суете боевой жизни они скользили мимо сознания. А вот теперь из уст этой молодой большеглазой женщины они вылетали, окрашенные таким чувством и столько в них было большой и не песенной, а настоящей женской тоски, что сразу почувствовал Алексей всю глубину мелодии и понял, как Варя-рябина тоскует о своем дубе.

...Но нельзя рябине
К дубу перебраться.
Видно, сиротине
Век одной качаться... –

пропела она, и в голосе ее почувствовалась горечь настоящих слез, а когда смолк этот голос, Алексей представил, как сидит она сейчас где-то там, под деревьями, залитыми весенним солнцем, и слезами полны ее большие круглые тоскующие глаза. Он почувствовал, что у него у самого защекотало в горле, ему захотелось поглядеть на эти старые, заученные наизусть письма, лежащие у него в кармане гимнастерки, взглянуть на фотографию тоненькой девушки, сидящей на лугу. Он сделал движение, чтобы дотянуться до гимнастерки, но рука бессильно упала на тюфяк. Снова все поплыло в сероватой, расплывавшейся светлыми радужными кругами тьме. Потом в этой тьме, тихо шелестевшей какими-то колючими звуками, услышал он два голоса –

Варин и еще другой, женский, старушечий, тоже знакомый. Говорили шепотом:

— Не ест?

— Где там ест!.. Так, пожевал вчера лепешечки самую малость — стошило. Разве это еда? Молочко вот тянет помаленьку. Даём.

— А я вот, гляди, супчику принесла... Может, примет душа супчик-то.

— Тетя Василиса! — вскрикнула Варя. — Неужто...

— Ну да, куриный, чего всполохнулась? Обыкновенное дело. Потрой его, побуди — можа, поест.

И прежде чем Алексей, слышавший все это в полуза�оты, успел открыть глаза, Варя затряслася его сильно, бесцеремонно, радостно:

— Лексей Петрович, Лексей Петрович, проснись!.. Бабка Василиса супчику куриного принесла! Проснись, говорю!

Лучина, потрескивая, горела, воткнутая в стену у входа. В неровном чадном свете ее Алексей увидел маленькую, сгорбленную старуху с морщинистым длинноносым сердитым лицом. Она возилась у большого узла, стоявшего на столе, развернула мешковину, потом старый шушун, потом бумагу, и там обнаружился чугунок; из него ударил в землянку такой вкусный и жирный дух куриного супа, что Алексей почувствовал судороги в пустом желудке.

Морщинистое лицо бабки Василисы сохраняло суворое и сердитое выражение.

— Принесла вот, не побрезгуйте, кушайте на здоровье. Может, бог даст, на пользу пойдет...

И вспомнилась Алексею печальная история бабкиной семьи, рассказ о курице, носившей смешное прозвище: Партизаночка, и все — и бабка, и Варя, и вкусно дымившийся на столе котелок — расплылось в мути слез, сквозь которую суворо, с бесконечной жалостью и участием смотрели на него строгие старушечьи глаза.

— Спасибо, бабушка, — только и сумел сказать он, когда старуха пошла к выходу.

И уже от двери услышал:

— Не на чем. Что тут благодарить-то? Мои-то тоже воюют. Может, и им кто супчику даст. Кушайте себе на здоровье. Поправляйтесь.

— Бабушка, бабушка! — Алексей рванулся к ней, но руки Вари удержали его и уложили на тюфяк.

— А вы лежите, лежите! Ешьте вот лучше супчик-то. — Она поднесла ему вместо тарелки старую алюминиевую крышку от немецкого солдатского котелка, из которого валил вкусный жирный пар. Поднося ее, она отвертывалась, должно быть, для того, чтобы скрыть невольную слезу: — Ешьте вот, кушайте!

— А где дед Михайла?

— Ушел он... По делам ушел, район искать. Скоро не будет. А вы кушайте, кушайте вот.

И у самого своего лица увидел Алексей большую, почерневшую от времени, с обгрызенным деревянным краем ложку, полную янтарного бульона.

Первые же ложки супа разбудили в нем звериный аппетит — до боли, до спазм в желудке, но он позволил себе съесть только десять ложек и несколько волоконцев белого мягкого куриного мяса. Хотя желудок настойчиво требовал еще и еще, Алексей решительно отодвинул еду, зная, что в его положении излишняя пища может оказаться ядом.

Бабкин супчик имел чудодейственное свойство. Поев, Алексей заснул — не впал в забытье, а именно заснул — крепким, оздоравливающим сном. Проснулся, поел и снова заснул, и ничто — ни дым очага, ни бабий говор, ни прикосновение Вариных рук, которая, опасаясь, не умер ли он, нет-нет да и наклонялась послушать, бьется ли у него сердце, — не могло его разбудить.

Он был жив, дышал ровно, глубоко. Он проспал остаток дня, ночь и продолжал спать так, что казалось, нет в мире силы, которая могла бы нарушить его сон.

Но вот ранним утром где-то очень далеко раздался совершенно не отличимый среди других шумов, наполнявших лес, далекий, однообразно воркующий звук. Алексей встрепенулся и, весь напружившись, поднял голову с подушки.

Чувство дикой, необузданной радости поднялось в нем. Он замер, сверкая глазами. Потрескивали в очаге остывающие камни, вяло и редко пикикал уставший за ночь сверчок, слышно было, как над землянкой спокойно и ровно звенят старые сосны и даже как барабанит у входа полновесная весенняя капель. Но сквозь все это слышался ровный рокот. Алексей угадал, что это тарахтит мотор «ушки» – самолета У-2. Звук то приближался и нарастал, то слышался глушше, но не уходил. У Алексея захватило дух. Было ясно, что самолет где-то поблизости, что он кружит над лесом, то ли что-то высматривая, то ли ища место для посадки.

– Варя, Варя! – закричал Алексей, стараясь приподняться на локтях.

Вари не было. С улицы слышались возбужденные женские голоса, торопливые шаги. Там что-то происходило.

На мгновение приоткрылась дверь землянки, в нее сунулось пестрое лицо Федьки.

– Тетя Варя! Тетя Варя! – позвал мальчуган, потом возбужденно добавил: – Летит... Кружит... Над нами кружит... – Он исчез прежде, чем Алексей успел что-нибудь спросить.

Он сделал усилие и сел. Всем телом своим он чувствовал, как бьется сердце, как возбужденно пульсирует, отдаваясь в висках и в больных ногах, кровь. Он считал круги, совершаемые самолетом, насчитал один, другой, третий и упал на тюфяк, упал, сломленный волнением, снова стремительно и властно ввергнутый в тот же всемогущий, целительный сон.

Его разбудил звук молодого, сочного, басовито рокочущего голоса. Он отличил бы этот голос в любом хоре других голосов. Таким в истребительном полку обладал только командир эскадрильи Андрей Дегтяренко.

Алексей открыл глаза, но ему показалось, что он продолжает спать и во сне видит это широкое, скуластое, грубое, точно сделанное столяром вчерне, но не обтертое ни шкуркой, ни стеклышиком добродушное угловатое лицо друга с багровым шрамом на лбу, со светлыми глазами, опущенными такими же светлыми и бесцветными, свиными – как говорили недруги Андрея – ресницами. Голубые глаза с недоумением всматривались в дымный полумрак.

– Ну, дидусь, показуй свой трофея, – прогудел Дегтяренко.

Видение не пропадало. Это был действительно Дегтяренко, хотя казалось совершенно невероятным, как друг смог найти его тут, в подземной деревеньке, в лесной глухи. Он стоял, большой, широкоплечий, с расстегнутым, по обыкновению, воротом. В руках он держал шлем с проводками радиофона и еще какие-то кулечки и сверточки. Лучинный светец освещал его сзади. Золотой бобрик коротко остриженных волос нимбом светился над его головой.

Из-за спины Дегтяренко виднелась бледная, совершенно измученная физиономия деда Михайлы с возбужденно вытаращенными глазами, а рядом с ним стояла медсестра Леночка, курносая и озорная, смотревшая во тьму со зверюшечным любопытством. Девушка держала под мышкой толстую брезентовую сумку с красным крестом и прижимала к груди какие-то странные цветы.

Стояли молча. Андрей Дегтяренко с недоумением оглядывался, должно быть ослепленный темнотой. Разва два взгляд его равнодушно скользнул по лицу Алексея, который тоже никак не мог освоиться с неожиданным появлением друга и все боялся, не окажется ли все это бредовым видением.

– Да вот же он, господи, вот лежит! – прошептала Варя, срывая с Мересьева шубу.

Дегтяренко еще раз недоуменно скользнул взглядом по лицу Алексея.

– Андрей! – сказал Мересьев, силясь подняться на локтях.

Летчик с недоумением, с плохо скрытым испугом смотрел на него.

— Андрей, не узнаешь? — шептал Мересьев, чувствуя, что его всего начинает трясти.

Еще мгновение летчик смотрел на живой скелет, обтянутый черной, точно обугленной, кожей, стараясь признать веселое лицо друга, и только в глазах, огромных, почти круглых, поймал он знакомое упрямое и открытое мересьевское выражение. Он протянул руки вперед. На земляной пол упал шлем, посыпались свертки и сверточки, раскатились яблоки, апельсины, печенье.

— Лешка, ты? — Голос летчика стал влажен, бесцветные и длинные ресницы его слиплись. — Лешка, Лешка! — Он схватил с постели это больное, детски легкое тело, прижал его к себе, как ребенка, и все твердил: — Лешка, друг, Лешка!

На секунду оторвал от себя, жадно посмотрел на него издали, точно убеждаясь, действительно ли это его друг, и снова крепко прижал к себе.

— Да то ж ты! Лешка! Бисов сын!

Варя и медсестра Лена старались вырвать из его крепких, медвежьих лап полуживое тело.

— Да пустите ж его, бога ради, он еле жив! — сердилась Варя.

— Ему ж вредно ж волноваться, положите! — скороговоркой, пересыпая свою речь бесконечными «ж», твердила сестра.

А летчик, по-настоящему поверив наконец, что этот черный, старый, невесомый человек действительно не кто иной, как Алексей Мересьев, его боевой товарищ, его друг, которого они всем полком мысленно давно уже похоронили, схватился за голову, издал дикий, торжествующий крик, схватил его за плечи и, уставившись в его черные, радостно сверкающие из глубины темных орбит глаза, заорал:

— Живый! Ах, мать честная! Живый, бис тоби в лопатку! Да где ж ты был столько дней? Как же ты так?

Но сестра — эта маленькая смешная толстушка с курносым лицом, которую все в полку звали, игнорируя ее лейтенантское звание, Леночкой или сестрой медицинских наук, как однажды она, на погибель себе, отрекомендовалась начальству, певунья и хохотушка Леночка, влюбленная во всех лейтенантов сразу, — сурово и твердо отстранила расходившегося летчика:

— Товарищ капитан, отойдите ж от больного!

Бросив на стол букет цветов, за которыми еще вчера летали в областной город, букет, оказавшийся совершенно ненужным, она раскрыла брезентовую сумку с красным крестом и деловито приступила к осмотру. Коротенькие ее пальчики ловко бегали по ногам Алексея, и она все спрашивала:

— Больно? А так? А так?

В первый раз по-настоящему Алексей обратил внимание на свои ноги. Ступни чудовищно распухли, почернели. Каждое прикосновение к ним вызывало боль, точно током пронзившую все тело. Но что особенно не нравилось, видимо, Леночке — это то, что кончики пальцев стали черными и совсем потеряли чувствительность.

За столом сидели дед Михайла и Дегтяренко. Потихоньку угостившись на радостях из фляги летчика, они вели оживленную беседу. Дробным старческим тенорком дед Михайла, по-видимому уже не в первый раз, принимался рассказывать:

— Так, значит, выходит, ребятишки наши на вырубке его и отыскали. Немцы лес на блиндажи там рубили, ну, ребятишек этих мать, то есть дочка моя, за щепой туда и погнала. Там они его и увидели. Ага, что за чудо за такое? Сперва им, значит, медведь померещился, — дескать, подстреленный и катится этак-то. Они было тягу, да любопытство их повернуло: что за медведь за такой, почему катится? Ага! Не так? Смотрят, значит, катится с боку на бок, катится и стонет...

— Как это «катится»? — усомнился Дегтяренко и протянул деду портсигар: — Куришь?

Дед взял из портсигара папиросу, достал из кармана сложенный кусочек газеты,

аккуратно оторвал уголок, высыпал на него табак из папиросы, свернул и, закурив, с удовольствием затянулся.

— Как не курить, курим-потягиваем. Ага! Только мы при немце не видали его, табаку-то. Мож курим, опять же сухой молочайный лист, да!.. А как он катился, ты его спроси. Я не видел. Ребята говорят, так и катился — со спины на брюхо, с брюха на спину: ползти-то ему по снегу, виши, не под силу было, — вот он какой!

Дегтяренко все порывался вскочить, посмотреть на друга, возле которого возились женщины, укутывая его в серые, привезенные сестрой армейские одеяла.

— А ты, друг, сиди, сиди, не наше это, мужское дело — пеленать! Ты слушай, да на ус мотай, да начальству какому-нибудь там своему перескажи... Великого подвига человек этот! Виши, он какой! Полную неделю всем колхозом его отхаживаем, а он шевелиться не может. А то вот сил в себе насирил, по лесам да по болотам нашим полз. На это, брат, мало кто способный! И святым отцам по житиям такого-то подвига совершать не приходилось. Куда там! Экое дело, подумаешь — на столбе стоять! Что, не так? Ага, а ты, парень, слушай, слушай!..

Старик наклонился к уху Дегтяренко и защекотал его своей пушистой мягкой бороденкой.

— Только, сдается мне, он, того, — как бы не помер, а? От немца-то он, виши, уполз, а от нее, от косой, нешто уползешь? Одни кости, и как он полз, не постигну я. Уж очень, должно быть, к своим тянуло. И бредит-то все одним: аэродром, да аэродром, да слова там разные, да Оля какая-то. Есть у вас там такая? Аль жена, может?.. Ты слышишь меня или нет, летун, а летун, слышишь? Ау...

Дегтяренко не слышал. Он старался представить себе, как этот человек, его товарищ, казавшийся в полку таким обычным парнем, с отмороженными или перебитыми ногами день и ночь ползет по талому снегу через леса и болота, теряя силы, ползет, катится, чтобы только уйти от врага и попасть к своим. Профессия летчика-истребителя приучила Дегтяренко к опасности. Бросаясь в воздушный бой, он никогда не думал о смерти и даже чувствовал какую-то особую, радостную взволнованность. Но чтобы вот так, в лесу, одному...

— Когда вы его нашли?

— Когда? — Старик зашевелил губами, снова взял папиросу из открытой коробки, изувечил ее и принялся делать цигарку. — Когда же? Да в чистую субботу, под самое прощеное воскресенье, — стало быть, как раз с неделю назад.

Летчик прикинул в уме числа, и вышло, что полз Алексей Мересьев восемнадцать суток. Проползти столько времени раненому, без пищи — это казалось просто невероятным.

— Ну, спасибо тебе, дидусь! — Летчик крепко обнял и прижал к себе старика. — Спасибо, брат!

— Не на чем, не на чем, за что тут благодарить! Иши спасибо! Что я, чужак иностранный какой! Ага! Скажешь, нет? — И он сердито крикнул невестке, стоявшей в извечной позе бабьего горького раздумья, подперев щеку ладонью: — Подбери с полу продукт-то, ворона! Иши разбросали такую ценность!.. «Спасибо», иши ты!

Тем временем Леночка закончила укутывать Мересьева.

— Ничего, ничего ж, товарищ старший лейтенант, — сыпала она чистые и мелкие, как горох, словечки, — в Москве ж вас в два счета на ноги поставят. Москва ж — город же! Не таких излечивают!

По тому, что была она излишне оживлена, что без умолку твердила, как вылечат Мересьева в два счета, понял Дегтяренко: осмотр дал невеселые результаты и дела его приятеля плохи. «И чего стрекочет, сорока!» — с неприязнью подумал он о «сестре медицинских наук». Впрочем, в полку никто не принимал эту девушку всерьез: шутили, что лечить она может только от любви, — и это несколько утешало Дегтяренко.

Завернутый в одеяла, из которых торчала только голова, Алексей напоминал

Дегтяренко мумио какого-то фараона из школьного учебника древней истории. Большой рукой провел летчик по щекам друга, на которых кустилась густая и жесткая рыжеватая поросль.

— Ничего, Лешка! Вылечат! Есть приказ — тебя сегодня в Москву, в гарный госпиталек. Профессора там сплошные. А сестры, — он прищелкнул языком и подмигнул на Леночку, — мертвых на ноги подымают! Мы еще с тобой в воздухе пошумим! — Тут Дегтяренко поймал себя на том, что говорит он, как и Леночка, с таким же напускным, деревянным оживлением; руки же его, гладившие лицо друга, вдруг ощутили под пальцами влагу. — Ну, где носилки? Понесли, что ли, чего тянуть! — сердито скомандовал он.

Вместе со стариком осторожно уложили они спеленатого Алексея на носилки. Варя собрала и свернула в узелок его вещички.

— Вот что, — остановил ее Алексей, когда стала она засовывать в узелок эсэсовский кинжал, который не раз с любопытством осматривал, чистил, точил, пробовал на палец хозяйственный дед Михайла, — возьми, дедушка, на память.

— Ну, спасибо, Алекса, спасибо! Сталька знатная, гляди-ка. И написано что-то не по-нашему вроде. — Он показал кинжал Дегтяренко.

— «Аллес фюр Дойчланд» — «Все для Германии», — перевел Дегтяренко выведенную по лезвию надпись.

— «Все для Германии», — повторил Алексей, вспомнив, как достался ему этот кинжал.

— Ну, берись, берись, старик! — крикнул Дегтяренко, впряженный в передок носилок.

Носилки заколыхались и с трудом, осыпая землю со стен, пролезли в узкий проход землянки.

Все, кто набился в нее провожать найденыша, хлынули наверх. Только Варя осталась дома. Не торопясь поправила она лучину в светце, подошла к полосатому тюфяку, еще хранившему вмятые в него очертания человеческой фигуры, и погладила его рукой. Взгляд ее упал на букет, о котором вспыхах все позабыли. Это было несколько веточек оранжерейной сирени, бледной, чахлой, похожей на жителей беглой деревеньки, проведших зиму в сырых и холодных землянках. Женщина взяла букет, вдохнула хилый, еле уловимый в угарной копоти нежный весенний запах и вдруг повалилась на нары и засилась горькими бабьими слезами.